

ПРОЗА

Олег ГУБАРЬ Уроки тишины	97
Родион ФЕДЕНЕВ В профиль	110
Олег ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей	125
Татьяна ОРБАТОВА Танец на разбитых черепках	144
Вадим ЯРМОЛИНЕЦ Кредитная история	154
Татьяна МАРТЫНОВА Дальше было вот что... ..	161
Михаил ЖИЛИН Два рассказа	167
Инна НАЙДИС Профессор-убийца	170
Владимир ЕФИМЕНКО Старик	174
Юлия ЖАРКОВА Искатели детства	210

Олег ГУБАРЬ

Уроки тишины

Мальчик ли

Мы познакомились на поминках. Ее зовут Таня и она тоже Скорпион. Знаете, как на поминках. Это ж не свадьба. Тут скорее на себя проецируешь, примериваешь. Хотя тебя еще ни разу не хоронили. Действительно. Жениться можно периодически. А умирать — другое дело, приходится без репетиций. Вот и любопытно. Вроде бы, можешь же наконец узнать, кем ты был и кто ты есть на самом деле. Но это дежурное заблуждение. Поскольку о покойном — или ничего, или хорошее. Как живем, выходит, так и помираем — в полнейшем недоумении. В чем, вероятно, и заключается пресловутый, но утешительный смысл жизни.

Ладно, ничего не попишешь. Сидим, стало быть, закусьваем. Чем Бог послал. Бог дал — Бог взял. Такое дело.

Соседку справа я точно где-то видел. Вглядываюсь плотоядно. Куда денешься, жизнь несправедливая продолжается. Пока. "Вам вина, — предлагаю, ухаживаю то есть, — или чего?" Она говорит: "Или чего". Выпила взрослую такую стопку и выдохнула, горло прочищая: "Гм-кхы". Привычно так, в удовольствие. И я вспомнил.

Таню эту, которая на работе называется, допустим, Мила, пользуется мой хороший приятель Аркаша. В каком сюжете лично я не усматриваю ничего ни плохого, ни оригинального. Так оно все устроено — по образу и подобию, прости Господи.

Но есть во всей этой тривиальной, как тот же "смысл жизни", истории один значимый и саднящий момент. То есть не момент, а ребенок. Мальчик. Вполне, даже более того, ухоженный и вовсе не какой-нибудь мелкий пакостник и сквернослов, хотя от горшка два вершка. Тихий он, вот что. Рассеянный. И взгляд у него как бы не сфокусирован. Улыбка расхлябанная. Да нет, вполне нормальный, вменяемый, я не о том. Но такой, что бесконечно думает о чем-то своем определенном, а не сразу обо всем, перекакивая с кочки на кочку, как и положено семилеткам. Я наверное знаю, что у него есть одна большая мысль, которую он не может передумать, все пытаюсь охватить ее сразу, целиком, как бы завернуть в одно большое одеяло. Я вижу, как этот мальчик примеривается, будто штангист накануне подхода. Как вертит в руках кусок плотной ткани, раскатывая ее то по ширине, то по длине. И может быть, не решается приблизиться к возлежа-

щей перед ним махине, не видя возможности разом ее запеленать и, повернувшись спиной, навсегда уйти от нее восвояси.

Вот что я видел, когда безнадежно ловил его бликующий взор. Мне всегда хотелось потрепать его по макушке, на что я так и не отважился. Внешность у него была такая нежно восточная, почти как у сына Брюса Ли, Брендона. Впрочем, я немного приукрашиваю. Но только немного.

Мы с Милой (или Таней) водили наших сыновей в секцию восточных единоборств. Но мальчика Ли обычно доставляла как бы бабушка, думаю, мамка, квартировладелица. Оттого я тотчас и не признал соседку по умеренно печальному застолью. Виделись буквально два-три раза. Однажды при Аркаше и дважды на секции. В последних случаях на сто восемьдесят градусов разворачивая стилистику отношений. Ибо здесь она же была не на работе, а при исполнении материнского долга. А я добросовестно делал вид, будто не ведаю, что она — человек интересной профессии. Между прочим, Мила-Таня преображалась вполне органично. Хотя не меняла даже форму одежды и макияж. Это обстоятельство очень меня занимало. Интересно было знать, которая из ипостасей ей не то чтобы даже больше к лицу, но ближе по совпадению сути. Выяснить это мне, видимо, не суждено. Что тоже бывает.

Итак, я вглядывался в мальчика Ли и размышлял, как (не-) реализовалась в нем мать и кто-нибудь еще. По внешнему облику он, как я уже говорил, представлялся просто-таки типологическим восточным бойцом-малолеткой, как бы живым персонажем боевиков. Реально же оказывался самым безуспешным в своей возрастной категории. Не потому, что был не гибок, не проворен или не обладал подходящей реакцией. Нет. Дело в другом. Он, казалось, замирал на тренировках, впадал в коматозное состояние, а, может, в нирвану. От него ровно ничего не мог добиться на редкость доброжелательный и даже самоотверженный тренер. Мальчик в этом деле не участвовал, вот и все. А способности обнаруживались блестящие — когда он изредка просыпался. Помните, как в том кинофильме. Где Де Ниро в главной роли. Там люди, страдающие одною эксклюзивною болезнью, годами пребывают в некоем анабиозе, а когда изобретатель новой вакцины выводит их из этого состояния, они с душераздирающими всхлипами обнаруживают, насколько постарели. Впрочем, вакцина дает лишь кратковременный эффект, и эти несчастные возвращаются в свое первобытное бессознательное состояние.

Да, так вот, тренер и обратил внимание мамки и мамы на то, что ребенок равнодушен к занятиям, что, может быть, надо приискать ему что-нибудь для души. Как мне показалось, девушки обнаружили раздражение

и готовили какие-то репрессивные меры в отношении моего непроницаемого мальчика Ли. Что-то я такое услышал, что вот, мол, он единственный мужчина в доме и должен вести себя соответствующим образом. Короче говоря, у меня защемило сердце. И вообще: из затюканных мальчиков получаются затюканные мужчины, то есть не вполне мужчины. В общем, я боялся за него и одновременно — потерять его из виду и как бы изпод воображаемых контроля и опеки.

Вообще-то я в таких случаях скоропостижно женюсь. Но уже исчерпал все лимиты. К тому же что-то мне не светит (и не согревает) перспектива родственной мамки. Как же тогда жалость свою иначе реализовать, ума не приложу. Вот так, бывало, и страдаю. Приведут его на следующую тренировку? Не приведут? После взбучки? А может, никакой кары и не последовало?.. Привели. И мне было временно радостно. А как иначе? Надо ж и печалиться когда-нибудь. Брать такую высокую эмоционально-поминальную ноту, увлажняться слезами, гонять мороз по коже и такое прочее.

...Горячего не подают. Знают, видно, что нас чувства согревают. Плюс высокоградусная влага. Тоже хорошо увлажняет. "Ну, как там Аркаша?" — вопрошает Таня-Мила с нежданной откровенностью. А чего там? Мы ж на поминках, один черт, друг друга шапочно знаем. То есть, практически незнакомцы. "Да ничего, — говорю, — что ему сделается". — "А за малого, — она так и сказала, "за", по-одесски, — ты переживаешь зря, я же вижу..." — "С чего ты взяла?" Улыбается этак профессионально. Ну да, они же психологи настоящие, не то что дипломированные. "Да чего ты, — продолжает этак врастяжку, — у нас же эти мальчики в доме скапливаются..." А? Как вам это? Скапливаются. "Мы их разводим, — гнет свое Мила-Таня, — ты не поймешь... Мужики в доме... Мы в них себя и вас любим и жалеем". Глупости какие. "Как это, — говорю, — себя и нас?" — "Ну, себя, конечно, покрепче, — отвечает, — и у нас потенциал имеется, чтоб рожать и любить таких сволочей, как ты. Понимаешь? Нет? Чтоб ты, зараза, — она начинала сердиться, — вот так печалился, глядя на них и сожалея, что не твои..."

Между тем территория поминок заметно сократилась. Оставшиеся сочувствующие как бы перетекли к оголовку стола, где гнездились аутентичные скорбящие. Мы с моей визавишкой оказались на самой периферии, и нас мучительно пыгались идентифицировать родственники покойного, как бы вполпьяна сканируя дальномером.

Я говорю уважительно (мы к тому времени изрядно поднабрались): "Идемте, Татьяна, а то нас еще, пожалуй, поколотят". Она говорит: "Я не Татьяна". "А, — не смутившись, — ну, конечно, Мила". "Я не Мила", — го-

ворит Татьяна. "А кто же ты?" — удивляюсь, переходя на ты. "Я-а-а... Скорпион", — выдыхает Мила. "Я тоже", — говорю я. Она: "Жаль". "Кого жалить?" — откалambuриваюсь — как всегда, неуклюже. "Да все того же себя", — смеется, но горько. "И что же мне с этой жалостью делать?" — спрашиваю. "Ничего, — говорит, — валяй, жаль дальше". И после паузы: "Знаешь, — говорит, — ты парень хороший, вижу. Я для тебя что-нибудь сделаю". "Давай, — соглашаюсь беспечно, — делай". Что у меня там в башке оставалось? Думал, безвозмездно службу свою отслужить собирается, по симпатии и умолчанию, так сказать. А что? Мы такие. Мы глобальных обобщений любители. Типа "Бабы дуры, бабы дуры, бабы — бешеный народ" и т. д. и прочее. "Объективность", замешанная исключительно на убогом личном опыте.

...Я когда попал в Россию на армейскую службу, так однажды ходил с подругой в самоволку... по грибы. Так получилось. Лес был рядом. Настоящий. Не то, что у нас на юге — лесопосадки. Вот и не знал, какие грибы бывают. Думал, что в детских книжках они чуть ни в рост малышей — для сказочной гиперболы. А вышло, что на самом деле. Шел это я по лесной тропинке, и маршрут пролегал меж двух симметрично раскланивающихся по сторонам деревьев. А ровно посередине — огромный подберезовик. С червоточинами, понятно, но, как по мне, так гриб просто-таки невероятной красоты. Удивление испытал совершенно детское, такое полузабытое. А моя спутница этак по-деловому срезала его (то есть их — гриб и впечатление) ножом, досадливо цокнула языком — что вот, мол, много червивой плоти отчекрыжить придется. И стало мне как-то не по себе. Рос себе гриб, никому ничего плохого не делал, неосознанно состарился, и вот его без пользы в общем-то скосили. Потому что когда труху отчленивать начнут, так почти ничего для жарки или сушки не останется. Лучше б и помер своею смертью в промежности каких-нибудь чахлах березок.

Отчего-то вспомнился этот сюжет, когда вглядывался в удаляющуюся и растворяющуюся в сумерках печальную спину мальчика Ли. В последний раз вглядывался. Потому что больше он на тренировках не появлялся. И Таня, которая не Таня. И Мила, которая немилка, тоже.

За что и спасибо ей.

Уроки тишины

Пространство локального пользования — такая штука, что имеет свойство неуклонно сокращаться. То есть наполняться предметами, вытесняющим объемом или, как бы сказать, кубатуру воздуха. Логично и,

вроде бы, даже очевидно, что чем больше в комнате вещей, тем как бы меньше свободного пространства. Но, уверяю вас, это только на первый взгляд. Поскольку во всяком порядочном доме имеется изрядное число предметов (а в моей классификации — как раз не предметов, а именно вещей!), заключающих в себе уйму пространства и простора. Типа тундры, широкой дороги, где мчится курьерский "Воркута — Ленинград", зеленого моря тайги, которое под крылом самолета о чем-то поет, знойных степей, куда ты уехала, а также далекой Амазонки, где не бывал я никогда, и др. Короче, от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей.

Как бы вещи эти типизировать, определить одним словом, на худой конец — лапидарным словосочетанием... Что-нибудь вроде ДОВЕСКИ К ВПЕЧАТЛЕНИЯМ, как-то так. Такие себе материализованные названия мемуарных файлов.

Прежде для почтенных этих ДОВЕСКОВ специально отводились почетные места — серванты, витрины, "горки", этажерки, полочки и прочее. Мир был пошире, а коммуникационные возможности поуже. Вот сувенирами из других жизней — с которыми нет связи, почти как с инопланетянами, и которых, следовательно, как бы и нет вовсе, — дорожили. И правильно делали.

Реестр ДОВЕСКАМ в общем довольно скучен и даже хронологически однообразен, оттого что фиксирует одну лишь форму, оставляя за скобками непостижимое содержание. Лелеяли разные там занюханые сухие листочки с цветочками (о чем — "милльон терзаний"), пейзажные камешки, допустим, из окрестностей того же Сорренто, экзотические ракушки с Подветренных островов сокровищ, дешевые поделки и открытки отовсюду.

Все — больше визуализированное, изредка — обонятельное:

"Иль где-нибудь в углу, средь рухляди чердачной
В слежавшейся пыли находим мы невзрачный
Флакон из-под духов: он тускл, и пуст, и сух,
Но память в нем жива, жив отлетевший дух".

Моя подруга и конфидентка Сашка, великая лягушка-путешественница, регулярно устраивает у себя прополки и чистки, почище сталинских. После чего очередная ватага блестяще-шелестящей мишуры отправляется в места еще более отдаленные, чем те, откуда пожаловала. Изрекаю патетически: "Санька, ты жестока, ладно. Но на кой вообще тратила валюту на этакое безобразие?.." Она: "Тоже мне, тихий ангел... Понимаешь, они так

представительно смотрелись на родном фоне... А нынче я их не узнаю...". И то верно. Мне бы и самому ни за что не оторвать кусок джунглей, сельвы, прерий, кораллового атолла или там вечной мерзлоты. Огрызки — сталактита, сталагмита, гипсовой розы — с барского стола девственной природы. Просто-таки не дом, а палеонтологический музей (нет, говорю я, именно палеонтологический, не петрографический и не минералогический, — трупы, кадавры ретроспективных эмоциональных всплесков).

Впрочем, чего это я раскудахтался? Бывают же ДОВЕСКИ-ВЕРИГИ. Осязательные. Как, стало быть, адекватно сформулировано: вериги памяти. У меня такие имеются.

Вот, скажем, Пашка Пархомовский, друг детства моего. Он когда яблоко ел, так всегда с косточками. И при этом говаривал — он медиком был, — что, мол, содержащийся в косточках одного яблока витамин такой-то с избытком удовлетворяет суточные человеческие потребности в этом витамине. Пашки давно нет, а как возьму в руки яблоко, взвешу на ладони, так вся процедура истового поедания им косточек в сочетании с проповедью здорового образа жизни тут же реализуется. Яростно снижая аппетит.

Или вот еще. Сухой каштан. Не из тех, что таскают на поживу из огня. А как раз несъедобный. У нас в каждом парке — пруд пруди. Коричневый такой, со светлым щенячьим пятнышком. Кожура зеленая с шипами, а внутри попадают двойняшки, симметричные полусферы. Вот я такие половинки люблю. Они этой своей выпуклостью удобно укладываются в ладонь. И тогда кажется, что ее слегка распирает. Что в этом плоде живет законсервированная энергия роста.

Я всегда запасался каштанами с ранней осени. Нет, не так. Все пронзительно значимые события по какому-то неясному стечению обстоятельств непременно приурочивались к сентябрю. Оставалось всего ничего — подчиниться их ходу и подбирать каштаны прямо на совместном маршруте.

Когда я Ленку слушал, мне почему-то всегда не хватало одних ушей. Не в том смысле, что появлялась надобность обзавестись еще парой. А в том, что и руки следовало задействовать, чтоб они тоже участвовали в процессе вниманья.

Тогда шарил голодными глазами, выискивая встречный поперечный каштан или желудь (или камешек окатанный, если дело было у моря). Только не всякий годился. Поминутно наклонялся, схватывал, осматривал и отправлял назад, в пергаментный листопад. Ленку это, вероятно, выбивало из колеи, но она деликатно терпела мои выходки. Наконец об-

заводился подходящим экземпляром, по сути — прибором, настраивал его на нужную частоту — каштан мягко входил в нарочно сформованный для него паз ладони, словно аккумулятор, — и начиналась биолокация или что-то в этом роде.

Мне было абсолютно все равно, что там несет моя корреспондентка. Хотя бы и полную ахинею. (Что, вообще говоря, имело место быть.) Для меня она была вокалисткой, мелодекламатором. Что бы ни триндела. Понимаете, что я хочу сказать?

В конце концов, что есть сама музыка — как не гармоничный звукоряд: ритмически и интонационно организованные звуки. "Организация (учреждение?) звуков", и больше ничего особенного. Стало быть, кому — соловей, кому — кенарь, а кому — и сова с царевной-лягушкой квакушкой.

А Ленке же моей надо же было когда-нибудь слышать собственный голос, чтоб он (голос) совсем не атрофировался. Потому что в принципе молчунья она была редкостная. Может, про героев-пионеров вовремя читалась или там про партизан с подпольщиками, не знаю. На людях — редкое, но меткое словцо. Не серебряное, а очень даже золотое. Да и только. Бабы на нее поначалу всегда косились, ожидая подвоха, какового никогда не следовало, потом привыкали и говорили с нею за двоих — что очень удобно.

Помалкивала же Ленка неукоснительно, и не только в очереди к гинекологу или, там, на службе, но и "в семье своей родной", представляясь мне какою-то бесконечно осаждаемой со всех сторон многочисленными врагами крепостью. При этом осаждающие лишались всякой возможности вести переговоры о капитуляции на взаимовыгодных условиях и т. п. Это озадачивало и внушало уважение к предполагаемому противнику, вплоть до безоговорочного отхода с оккупированных территорий и пакта о ненападении в одностороннем порядке.

То есть, если переводить на обиходный язык, то из этого выходило следующее. Окружающие по собственной инициативе, причем довольно энергичной, лихо выговаривались, выбалтывая сокровенные военные тайны и иллюминируя самые потаенные и заповедные уголки смутного своего сознания или полной бессознанки. И судя по всему, лишь за тем, чтоб оглушить обволакивающую и обнимающую Ленку тишину. Чем старательнее она молчала, тем более оголтелой делалась откровенность товаров. Получался феномен односторонней связи. Вроде того, когда полярники стучат и поют "Морзянку", а радиоастрономы навязчиво зывают к заблудшим троюродным братьям по разуму, сигнализируя: "Мы были, есть и будем есть!".

А при мне Ленка зачем-то говорила. Пела как бы. Или распевалась. А я слушал зачарованно. И большего кайфа в жизни у меня, если честно, никогда и не было. Я с ней даже немного научился молчать, потому что вообще-то неисправимый трепач.

Пела она сама по себе. Не по заказу. Лучше бы и не портить песню. Только я хотел чего-нибудь, как нынче говорят, эксклюзивного, чтоб конкретно адресовалось мне. Любимые песни (о главном) по заявкам радиослушателей. Мы же любили друг друга. И о чем тут было говорить. А я насытно желал, чтоб она это как-нибудь озвучивала. Ленка же на сей счет словоохотливой не была, зато любить умела как никто. Вот и вся песня.

...Санька — она же и моя благосклонная читательница — говорит: "Ты, конечно, молодец, — говорит, — но, случается, по сюжету скользнешь, а я накушаться не успеваю". Какой тебе, сестра, сюжет: "Он пришел. Она сказала. Он достал"?.

...Как ни мну каштан этот сферический, не припомню, о чем моя Ленка пела. Что-то умиротворяющее, колыбельное такое, убаюкивающее (меня). О детстве. О родне какой-то отдаленной — седьмая вода на киселе, — однако теплой, поныне согревающей душу. О застрявших в памяти садово-огородных пустяках. О стариках и старухах у самого синего моря пред разбитым своим корытом. Песня-то, кажется, вся и была об одном безбрежном одиночестве и больше ни о чем... Кто теперь скажет, когда у меня от Ленки всего только сухой каштан один и остался.

Да нет же, я не в этом смысле. Где-то жива-здоровая. Я о довесках. Об уроках тишины.

Вот ведь бредет кто-нибудь мимо самозабвенно или в маршрутке на соседнее сидение радостно плюхнется — в ушах губковые такие черные сверчки, а за пазухой — невидимый плейер. А у меня — каштан в ладони. В правой. Чтобы подальше от сердца.

Цветы жизни

В своей жизни я дарил цветы не так уж редко. А запомнились только эти. Неказистые подвяленные чайные розы. К тому же — желтые.

Не то чтобы это были какие-нибудь "Цветы зла". Но специфическая амброзия распространялась, что называется, по всем направлениям бытия. "Твой запах в тропики влечет меня, как зов. И тесно в гавани от мачт и парусов". Эти розы теснили, выдавливая за оградительные молы, волноломы и за что-то там еще такое, о чем понимают исключительно занудные гидротехники.

А подарил я их Шурику Рыбкину по прозвищу Рыба. Тридцать с лишним лет тому назад и, как выяснилось, вперед. Не от себя подарил, а от Ленки Алёхиной, общей нашей с Шуриком подруги. То есть она мне поручила его с днем рождения поздравить. Конкретно, как нынче изъясняются, поздравить: цветами (на что выдала что-то около пяти рублей). Отнести к нему домой и передать. Что я и сделал с большой ответственностью. Отправился к вокзалу, где отирались фонтанские и люстдорфские цветочницы, и положил глаз на содержательный букет лимонных чайных роз. Мне, пожалуй, почудился просто-таки ароматный "Липтон" с лимоном. (Хотя чего это я зря болтаю, никаких "Липтонов" мы тогда знать не знали.) Радостно купил, а цветочница более чем охотно рассталась с охпкой. Рыбы дома не было. На безрыбье вручил цветы его младшему брату с соответствующими инструкциями. И благополучно покончил с Ленкиным поручением.

Прошло пару дней. И тут Лёха разбранила меня почему зря. "Что же это ты, охламон, — орет, — желтые розы притащил?! Ты специально, да?! Подстроил, да?! Знаешь, как Рыба обиделся?" — "С чего бы это, — возопил истово, — да я самые лучшие чайные выбрал! Знаешь, как пахнут?" — "Да ты чего придуриваешься, балда, — Ленка просто ошалела, — желтые розы — это ж к разлуке!!"

Тут и я опешил. Мне было около семнадцати и я понятия не имел о языке цветов и прочем язычестве. Бабушка моя, Муся, разноцветные розовые лепестки — и всенепременно от чайных роз! — собирала и на обширном кухонном подоконнике просушивала. Наливку из них готовила замечательную, а мы, дети, случалось, попивали. А розы в пору школьных экзаменов у нас не переводились: Папа мой математику преподавал, причем как раз на Фонтане. Такие копны приносил, что ой-ой-ой. Вот я и распознавал одни только эти цветы. Которые вечно несут впереди себя белоснежные первоклассницы и прочие выпускницы роддомов. А об иных-прочих, считайте, понятие имел единственно из считалочки: "Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме..." и т. д.

Мы вообще-то все очень дружили — Лёха, Рыба и я. Она сорвиголова была у нас, заводила, как бы сказать, сорванчиха. Рыба — рохля такой, добряк. А я — черт его знает, у меня характер шероховатый, с заусенцами. Но как-то же мы сплавились, сцементировались, срослись. Получилась такая, как геологи говорят, брекчия: камень как камень, а приглядеться, так он из разновеликих и разнородных кусочков складывается, в том числе — ребристых, острых.

Да, так вот, Ленка большая была выдумщица на розыгрыши и приколы всякие. Ну, допустим, возьмет и назначит свидание четверем ухажерам на четырех углах одного и того же перекрестка — Коблевской и Петра Великого. Чтоб из окна просматривался. А после сверяет по часам, который кавалер сколько прождал. Состязание такое, а она — независимый как бы рефери. А то бывали у нее изобретения и менее невинные. Как-то раз потащила нас с Рыбой якобы поздравлять подругу. Сверток у нее с собой акkuratненький такой, перевязанный розовой ленточкой с бантиком. "Сюрприз, — говорит, — хочу ей доставить". Сверток под дверь положила, кнопку звонка припечатала, а сама — по лестнице бежать. "Без меня, — кричит, — разберетесь". А в пакете, оказывается, мусор был. Неловко получилось. Распитие в парадных организовывала. Сигареты на улицах стреляла. На такси сшибала неизменные сорок копеек — столько от нашего Чичерина до ихнего Великого Петра нащелкивало. В пивбары, "на прирост" и футбол нас водила и выводила в расход. И такое прочее.

Мы ее с Шуриком уважали безмерно и были влюблены. А выходило, что состояли в ее конфидентах, в подругах, каковых (подруг) у нее отродясь не водилось. Побаивались ее девицы, поскольку не в их пользу расклад всякий раз выпадал. Насчет "расклада" — так это тоже была Леха. Она в преферанс нас играть выучила, всей терминологии и лексике карточной. Типа "Нет хода — не вистуй!", "Туз — он и в Африке туз!" ("Марьяж — он и в Африке марьяж!"), "Не с чего ходить — ходи с бубей!" итэда. Рыба называл ее "дамой бубновой с розаном и черепом" — как на типологических русских картах. Забавно, что на обиходных дореволюционных колодах, рисованных не чересчур русским французом Шарлеманем, розан этот был именно что желтым, от чего, вероятно, и пошел весь сырбор с гадальной разлукой. "Я уйду с толпой цыганок" и такое прочее.

Да, так вот Леха всегда козырной картой была, на любой игре. Девчонки рисовались, жеманились, а она и "в склянке темного стекла из-под импортного пива" розой красною "цвела гордо и неторопливо". За тщедушного Рыбу заступалась, шипела, шугала, шипами оцарапывала и рожи лица била немилосердно.

А цветы... Что цветы? Ну пришло ли бы мне в голову ей цветы какие-нибудь подарить? Оттого и оставался непросвещенным в этом вопросе — ее же и недоработка! Мы, правда, фильм тогда новый смотрели — "Цветы запоздалые", по чеховским рассказам. Навздыхались втроем, наохались. Там такой модный старорежимный доктор полюбил чахоточную и врачевать принялся запоздало. И цветы там были точно. А вот какие... Хотя

убейте, не припомню. Думаю теперь, что мокрые хризантемы — так называемые "японки", быть может. А может, и не быть.

С Шуриком, конечно, помирились. И зажили по-прежнему. Он ее любил, как умел. Я — неумело. И она — как умела. А дальше мы как-то потяряли Леху из карточного обихода (но не из виду). Рыба поступил в Водный институт, что было вполне логично, я — в университет, что, в общем, тоже имело свое объяснение, а вот за каким чертом атаманша наша поперлась в Кредитно-экономический — оставалось полнейшей загадкой. Есть подозрение, что прижилась там неспроста. Имелся при сем вузе студклуб с отменной тусовкой припадочных рок-музыкантов, на каковых тогда принято было молиться, поскольку целина, физика, лирика, партия, любовь, комсомол и весна уже не котировались. Так вот Леха вскорости с одним из таких хмырей простодушно умотала на ПМЖ куда-то в Крым. Говорят, нянчилась с ним, лечила от запоев, побоев и ковбоев, затыкала собою амбразуры, бронепоезда на скаку останавливала, в горящие избы входила налегке, рвала аорты, делала аборт и т. д. и прочее. Потом был у нее на поруках средней руки кинорежиссер типа "Живой труп — 2", то есть не то чтобы уж совсем труп, но и не то чтобы определенно склонный к дальнейшему земному существованию, во всяком случае, деятельному. Работать (над собой), как и рок-музыкант, не желал и все искал отговорки. Складывалось впечатление, что Ленке непременно нужен рядом кто-нибудь полуживой. Такой, чтоб (покабутке) наотрез отказывался от приятной обязанности жить. Как бы это получше растолковать...

Ну, вот был я как-то по некоей надобности у пожилого рентгенолога — дальней своей родственницы. И в это время заглянул к ней на консультацию один пациент, крепкий такой сорокалетний мужик. Она внимательно разглядывала принесенные им снимки, о чем-то они довольно спокойно, по-деловому беседовали, а я скромно сидел в отдалении. Когда мы остались одни, родственница эта меня и спрашивает: "Знаешь, что у этого человека?" Откуда мне было знать. Она, после паузы: "У него рак основания черепа". Я молодой был, неотесанный: "Так что, — говорю, — он умрет?". Она ехидно как-то пожевала губами и выдала: "Умереть — он не умрет". Еще пауза. И: "Но жить он тоже не будет".

Да, так вот Леха таких и опекала. Которые ни то, ни се. Одной ногой, вроде бы, там, а другой — и вовсе не ясно где. Все это меня до того озадачивало, что старался и не задумываться. Раз надо ей, так пускай себе.

А если итог подвести, так живут они все — и рок-музыкант запойный да прикольный (припеваючи), и "Живой труп — 2" (придыхающе), — жи-

вехоньки, и теперь живет всех живых, живут да, как говорится, в х.. не дуют. Другие им няньки нашлись, сменные — как мастера или там трусы с пеленками. Так что попали, можно сказать, в хорошие руки. Такой, понимаете ли, second hand. И есть же большие любители в нем покопаться...

Тут Ленка снова на нашем горизонте замаячила. Я к тому времени уже нескольких лошадей сменил. А Шурик — так тот долго оставался безлошадным. Никак не удавалось сдать его в эксплуатацию. Все щурился в свои очки-линзочки. Зрение у него паршивое ко всему прочему было. Щуплый такой, беспризорный. Пока Элька не подобрала. Хорошая такая, добрая баба, насадка, промелькнувшая на периферии нашей совместной юности. По-хорошему жили. Только что без детей. Вот Леха и говорит: "Давай, — говорит, — Рыба, я тебе детей наваляю...". Я говорю: "Лучше бы мне наваляла". Она: "У тебя и без того перебор". И лыбится этак в полгубы. Хотя у нас с ней до и после было. Это, как его... Ну, ИММУНИТЕТ-А-ТЕТ... Рыба: "А как же про марьяж? Ты ж нас сама наставляла..." — "Какой такой марьяж?" — "Как это какой?! Марьяж — он и в Африке марьяж!" — "А... Нет уж. Это, пожалуйста, без меня, в одностороннем, так сказать, порядке..." И загадочно прибавила: "Под игрока ходи с семака". Потом еще анекдот старый вспомнила. Про детей, которые цветы жизни, цветущие в чужом палисаднике.

На том они и порешили. Работали, значит, во исполнение. Я потом дважды в роддом приходил. Поздравлял их. Через силу, если честно. Цветы свои запоздалые приносил. Без зла. Как бы это сказать, чтобы было правильно... Нет, не правильно, а как-нибудь адекватно... Ну вот если б мне стать ее новорожденным, так я готов хоть бы и вообще перестать быть. Как-то так. Хотя и не оригинально (см. письма Джойса к Норе).

Короче, как ни старался, а делить все такое невмоготу. И без того, какой шмат жизни сообразили на троих — в горле застрял... Стою, бывало, на мосту, поплеываю в Темзу (а хоть бы и в Темзу!) и все мне по барабану. Так и подмывает подойти к первой встречной, наброситься с меморандумами совместного детопроизводства. Может, думаю, повезет. Не подожу. Все как-то наоборот. Напыюсь и сам жертвой чых-нибудь (дамских же) словоизъявлений становлюсь. Так и стал шляться по экспедициям, чтоб подальше от зарыбленного Лехой водоема. И год, и два, и несколько. Оно как бы и притупилось. А после — такое несчастье...

Примчался в город. Тропический ливень, да и только! Благо, самолет приземлили. Просто чудо. К выносу опоздал на полчаса — за цветами за-скакивал ("Я садовником родился, не на шутку рассердился...", далее по

тексту.) Тормознул тачку и — на кладбище. Старое оно, там почти не хоронят. К родственникам разве что, бутербродом. А тут еще льет! Разверзлись хляби небесные. Грязь непролазная. Башмаки вязнут — то всхлипывают, то чавкают. Как я. Серединка на половинку. Весы такие неуправляемые. Безмен... Вокруг — ни души. Спросить некого. Где да что. "Среди сурового безмолвия могил", — по словам классика. Раньше оркестры духовые (читай Жванецкого) безобразно давали жизни. После смерти. Может, и лучше без них. Только похороны не сыскать. Хоть бы там поскандалил кто — жена, допустим, с любовницей (покойного).

...Шурик совсем по-дурачки уплыл. Глаза свои захудалые лечил. И уколы ему делали прямиком в глазное яблоко. (Которое недалеко от яблони и т. д.) Больно, конечно. Но многим же делают. И ему сколько-то сделали. Только однажды он после инъекции зачем-то упал и умер. Вот, собственно, и все.

...Как-то я на них все же набрел. Колумбарий — прямо-таки доска почета, только что фотопортреты в три яруса не меняют: скукотища... Народу немного. В болоте старательно топчется. Как в гражданскую. Вот-вот, кажется, и воинский салют грянет. Только никакого салюта нету.

Ленка настырно в почетном карауле стоит. (Никто не скандалит. Никакого тебе трения у гроба. Даром что законная Элька поблизости. Где ж погребальная интрига?! Никакой динамики...) И мальчик при Лехе. А мальчик-то был! И подрос! Стройный такой, крепенький, улучшенной породы. И этак до печенки знакомо щурился. Видно, со зрением нелады. Так это что, поправимо. У нас медицина такие чудеса творит, черт бы ее побрал... Девчонка, правда, подкачала. Мелкая, жалкая даже. Такая, что уколешься. Поглядел — как в зеркало! — и укололся... "Господи ж, — заныл, — ты ж Боже ж мой жыж..." Глаза на мамку ее поднял. Вглядываюсь же изо всех сил, а лица, глаз Ленкиных разглядеть не могу. "Что ж ты все молчала, зараза ты бубновая, — себе думаю, — что ж молчала..." Стыдливо заслоняюсь мокрыми своими цветами. Вялеными. Желтыми. Чайными.

.....
Не с чего ходить — ходи с бубей!